

S T U D I A P H I L O L O G I C A



Ф. Б. Тарасов

ЕВАНГЕЛЬСКОЕ СЛОВО
В ТВОРЧЕСТВЕ ПУШКИНА
И ДОСТОЕВСКОГО



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МОСКВА 2011

УДК 821.133.1.0
ББК 83.3(2Рос=Рус)
Т 19

Тарасов Ф. Б.

Т 19 Евангельское слово в творчестве Пушкина и Достоевского. — М.: Языки славянской культуры, 2011. — 208 с. — (Studia philologica).

ISSN 1726-135X

ISBN 978-5-9551-0487-4

Сопоставление двух великих в истории русской литературы имен — Пушкина и Достоевского — далеко не новость в литературоведении. Однако в море самых разнообразных исследований сходств, перекличек и прямых связей в творчестве этих писателей растворяется нечто явно ощущаемое и гораздо большее, значительнейшее, чем просто сходства, переклички и прямые связи, значимое не только для истории литературы, но и для современного сознания.

В настоящем исследовании преемственная связь художественных произведений Пушкина и Достоевского анализируется как литературная и — в более широком смысле — культурная традиция, вбирающая в себя стержневые элементы их творчества и являющая собой магистральное направление в истории русской литературы. Именно новозаветные тексты, в их отнюдь не только и даже не столько письменном, сколько живом литургическом, культурном и даже в каком-то смысле повседневном бытовом звучании, формировали эту традицию, и именно они лежат в основе глубинного и принципиального единства Пушкина и Достоевского, несмотря на очевидную колоссальную разницу двух этих художников.

ББК 83.3

*Для оформления переплета использована фотография
художника Ричарда Хора*

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

ISBN 978-5-9551-0487-4

© Ф. Б. Тарасов, 2011

© Языки славянской культуры, 2011

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	7
1. Обратная перспектива	7
2. «Евангельский текст»	29
Глава первая.	
«Телега жизни»: духовные стратегии личности	43
Глава вторая.	
Душа и «почва»	79
Глава третья.	
«Ризы кожаные» и «брачные одежды»: о «маленьком человеке»	91
I	91
II	116
Глава четвертая.	
«Сверхчеловеческое» и богочеловеческое	127
I	127
II	141
Глава пятая.	
«Милосердное пространство»	153
Глава шестая.	
Спор о России: между «тройкой» и «колесницей»	181
Заключение.	197

ВВЕДЕНИЕ

1. «Обратная перспектива»

*«Лишь кончая писать задуманное
сочинение, мы уясняем себе, с чего
нам следовало его начать».*
Блез Паскаль. «Мысли».

*«Ибо — не в лаборатории я и не у
доски, а **при живом!**»*
И. С. Шмелев — И. А. Ильину.
22/9 янв. 1927 г.

Сопоставление двух великих в истории русской литературы имен — Пушкина и Достоевского — далеко не новость в литературоведческой науке. Однако в море самых разнообразных исследований сходств, перекличек и прямых связей в творчестве этих писателей как-то тонет, растворяется нечто явно ощущаемое и гораздо большее, значительнейшее, чем просто сходства, переклички и прямые связи, значимое не только для истории литературы, но и для современного сознания. Это *нечто* открывается с определенных позиций, из определенного положения, специальное предварительное объяснение которого необходимо в силу того, что, говоря словами одного известного ученого, «мы в своей работе, в той реальной работе, которую мы делаем, не в предположенной только и как бы должной, имеющей быть, а реальной, что мы в этой своей работе исходим вовсе не из тех положений, которые мы на поверхности держим перед собою и по инерции разделяем. На самом деле, современная наука о литературе и современная наука о культуре строится на основаниях, которые совсем не те, которые она выставляет вперед и формулирует в качестве таких основных своих положений»¹.

Установка современных гуманитарных наук на достоверность, объективность знания, как и вообще декларируемое стремление к научности, сопровождается, как правило, набором представлений, выражающих отношение к миру как к объекту, предмету, безгласной вещи. Но если так называемые точные науки созерцают вещь, высказываются о вещи и только безгласная

¹ Михайлов А. В. Несколько тезисов о теории литературы // Литературоведение как проблема. М., 2001. С. 208.

вещь противостоит одному единственному познающему (созерцающему) и говорящему (высказывающемуся) субъекту (и тогда любой объект знания, в том числе и человек, может восприниматься и познаваться как вещь), то предметом гуманитарных наук является выразительное и говорящее бытие². И стремление окружить себя овеществленной жизнью, в которой только познающий выступает как творческая говорящая личность, а все остальное вне его становится лишь вещными условиями, механическими причинами, вызывающими его слово³, — такое стремление демонстрирует отнюдь не «нейтральную» и «объективную» научность.

По меткому замечанию М. М. Бахтина, овеществляющая точность нужна для практического овладения⁴. «В то время как наука, существующая в своей инерции, привыкла переносить на прошлую историю те понятия, которые она, по каким-то причинам, выбрала для себя в качестве основных, я думаю, что наука в нынешнем ее состоянии должна отдавать себе отчет всякий раз в том, что она делает при этом некоторую опасную и рискованную операцию, присваивая себе то, что ей не принадлежит, распространяя на не свое то, что привычно для нас сейчас, перенося на чужое то, что присуще своему. И сейчас мы можем, по крайней мере, рассмотреть, что такая операция (...) имеет место, и что мы в состоянии рассмотреть эту операцию, в то время как наука XIX века совершенно не могла этого рассмотреть, в то время как наука XX века очень часто с известной уверенностью и даже самодовольством пользовалась этой операцией для того, чтобы подчинить себе как бы все пространство того, что попадает, все богатство того, что попадает в ее герменевтическое пространство»⁵.

За указанным стремлением к «научности» нельзя не заметить скрытого желания своего рода самообожествления, для чего все окружающее овеществляется, расщепляется, атомизируется, превращаясь в управляемые орудия и обеспечивая «независимость» разных сфер «мысли и деятельности человека, да даже и отдельных моментов его жизни, независимость и самостоятельность, и еще — равноправность, рядоположенность», избегающую «единства и единого целеполагания, неизбежно предполагающих иерархию, соподчинение»⁶. Единственной допустимой и желаемой реальностью признается «игра в концепции, которые перебираются “научным” сознанием, и ни одна из которых не принимается лично — кроме, пожалуй, самой концепции “игры”». «Перебирающий и разбрасывающий

² Бахтин М. М. К методологии гуманитарных наук // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 383, 430.

³ Там же. С. 386.

⁴ Там же. С. 430.

⁵ Михайлов А. В. Указ. соч. С. 215—216.

⁶ Касаткина Т. А. Сегмент и горизонт // Литературоведение как проблема. М., 2001. С. 572.

куски головоломки в свободной игре» не знает и не желает знать «ничего, кроме этой игры», и страшно боится, «что вдруг в его руках окажутся части чего-то живого — вместо удобных картинок; вдруг они срастутся — ведь это означает — *конец игры*»⁷. Все, ведущее и выходящее за пределы «игры», объявляется «ненаучной» «туманной неопределенностью, недоказуемой и внимания не заслуживающей»⁸.

Умножающиеся плоды подобной учености напоминают, по выражению современного пушкиниста, подвал Скупого рыцаря. Сумма знаний, «включающая сведения и открытия важные, порой выдающиеся, напоминала, если сказать по-другому, то ли разобранный механизм, детали которого хорошо изучены, но продолжают находиться на стенде, поскольку назначение целого неизвестно, то ли устье реки — переплетение многочисленных рукавов и протоков, в каждом из которых идет своя увлеченная навигация, но как и где воды соединяются в целое, откуда река течет и куда впадает, — мало кого интересует. Потребность в “обобщениях”, конечно, была, она и движет всякую настоящую науку, но “обобщение” понималось не иначе как суммирование, комбинация из отдельных “фактов” и “сведений”, поэтому излюбленным положением было: “нам еще не все известно”; обобщения всегда откладывались на далекое “потом”, когда фактов и сведений станет еще больше, то есть — на дурную бесконечность»⁹.

Объясняется это «вовсе не только давлением со стороны государства, идеологическими запретами, бесчинством цензуры, — но прежде всего *характером самого мышления* большинства людей <...> качеством их мировоззрения <...> господством “научного” материализма и позитивистской методологии, не допускавших всерьез даже мысли о целостном подходе к явлению, ибо чувших, что целостный подход есть подход *духовный*, — то есть такой, для которого “позитивные” знания, будучи совершенно необходимыми, в то же время не достаточны, не самодостаточны, но — служебны: как строительный материал или инструментарий. Методология была атеистическая, то есть *принципиально частичная*, опирающаяся на такое представление о мире и бытии, в котором сочеталось несочетаемое: с одной стороны, примат слепой материи, стихийно, по случайности, образовавшей разумную жизнь, а с другой — признание порожденных этой же материей “разумных” закономерностей, организующих ее жизнь. Это было

⁷ Касаткина Т. А. О литературоведении, научности и религиозном мышлении // Литературоведение как проблема. С. 463, 465.

⁸ Касаткина Т. А. После литературоведения // Литературоведение как проблема. С. 470.

⁹ Непомнящий В. С. Пушкин «духовными глазами» // Дар. Русские священники о Пушкине. М., 1999. С. 479—480.

в полном смысле слова разорванное сознание <...> порожденная им методология могла готовить прекрасный материал, создавать высококачественные инструменты и даже угадывать некоторые фрагменты целого, но построить здание, — то есть представление, которое могло бы хоть отчасти отвечать масштабам и назначению изучаемого предмета, таинственного в своем совершенстве, — она не могла»¹⁰.

Обозначенный здесь «научный» подход смыкается, на первый взгляд парадоксально (но лишь на первый взгляд), со своего рода обожествлением искусства как особого религиозного пути, заменяющего традиционные пути религиозного делания, «оспаривающего духовное пространство молитвы». Подобное обожествление, казалось бы, не только «не исключает восхищения совершенством, “чудесностью” (С. Бочаров) слова, поклонения ему, — напротив, все эти знаки нашей памяти о Божественном отсвете Слова на слове приобретают даже особую остроту и напряженность, порой до экзатичности (наподобие гимна “голубому небу” и “клеим листочкам” из уст Ивана Карамазова, в “порядок вещей” не верующего), что говорит о неистребимой потребности человека в вере и поклонении “чему-то высшему”. Но ведь идол и кумир, какие бы не воздавались им почести, — все равно объекты <...> Видя в слове лишь объект — изучения, восхищения, критики, — мы лишаем его голоса, помещаем себя в некую превосходительную позицию *оценки*, порой гурманской»¹¹.

«Поэзия» в то же время начинает выглядеть «неприкасаемой высшей инстанцией», которой «сообщается статус сверхличной, всеобщей, объективной истины», а целеполагание исследователя за ее пределами — «свято-татством», «как будто поэт — не человек, а “за” литературой ничего нет»¹². Творчество же предстает как «беспорядочная россыпь шедевров, кое-как, случайным образом, разбросанных по всему пространству “собрания сочинений”»¹³. Именно такую картину имел в виду свящ. П. Флоренский, когда писал о дурной бесконечности мира «перспективности» — «декоративности, имеющей своим заданием не истинность бытия, а правдоподобие казания»¹⁴.

¹⁰ *Непомнящий В. С.* Пушкин «духовными глазами» // Дар. Русские священники о Пушкине. М., 1999. С. 480—481.

¹¹ *Непомнящий В. С.* О горизонтах познания и глубинах сочувствия // Литературоведение как проблема. М., 2001. С. 531.

¹² Там же. С. 547.

¹³ *Непомнящий В. С.* Пушкин «духовными глазами» // Дар. Русские священники о Пушкине. М., 1999. С. 475.

¹⁴ *Флоренский П. А.* Обратная перспектива // Философия русского религиозного искусства. М., 1993. С. 253—254.